

С.З.Агранович, Е.Е.Стефанский

“ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ, ДЕВИЦА? ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ, КРАСНАЯ?”

Фольклорно-мифологические истоки этимологии слов *стыд и срам*

Объясняя происхождение слов, этимологи нередко прибегают к анализу семантической истории лексем со сходным значением в разных языках. Тем самым путем аналогии они доказывают, как из одной идеи (например, глаголов со значением ‘схватывать’, ‘улавливать’) при помощи различных типов переноса возникает другая идея более высокого порядка (например, глаголы со значением ‘понимать’, ‘осознавать’): русск. *поймать* → *понимать*, украинск. *хопати* ‘схватывать’ → *схоплювати* ‘понимать’, франц. *prendre* ‘брать, схватывать’ → *comprendre* ‘понимать’) [5; 12].

Чаще всего, констатировав смысловое сходство, на этом ставят точку, не пытаясь объяснить глубинные истоки именно такого развития семантики слов, а порой делают и неправильные выводы. Так, Л.А.Булаховский, объясняя сходство семантической истории слов со значением ‘рот’, ‘губы’, которые во многих европейских языках получили значение ‘место впадения реки в море’ (см. русск. *устье*, (*Обская*) *губа*, лат. *ostium*, нем. *Mündung*, англ. *mouth*), говорит о том, что образная

сторона этих наименований “своим существованием обязана стойким, возникающим одновременно у многих, ассоциациям”, в частности, в сознании наших далеких предков, наблюдавших эту картину природы, по-видимому, возникал образ моря, пьющего реку [5. 11-12].

Логическая ошибка такого объяснения заключается уже в том, что устье (т.е. губы, рот) принадлежит реке, а не морю. Мы говорим *устье реки*, а не *устье моря*. *Обская губа*, а не *губа Карского моря*. Следовательно, не море пьет реку, а река извергается в море.

Конечно, *устье* (т.е. губы, рот) *реки* – метафора, но возникла она не в результате образного переосмысления реальной картины природы в сознании многих людей одновременно. Для этого требовалось бы слишком смелое и высокоразвитое индивидуальное художественное сознание у массы носителей разных языков, живших в разное время и в разных культурах

Образ реки, извергающей из своего *устья* (т.е. рта, губ) поток воды в море, восходит к архаической коллективной картине мира, асинхронно возникавшей у разных народов в результате сходных объективных законов формирования мифологического сознания и раннего языка. Водный источник мыслился как живое существо (например, наяда). Причем это представление существовало относительно долго. Например, в Древнем Риме водоразборные колонки никогда не перекрывались. И это происходило не из-за технической отсталости (внешние бочки были снабжены кранами), а потому, что любой источник (даже искусственный) понимался как живое существо, которое просто погибнет, если его перекрыть (как погибнет человек, которому пережали горло). К архаическим представлениям человека о мире приходится обращаться не только при анализе этимологии слов, но и при рассмотрении семантических различий лексем, которые носителями современного русского языка практически не ощущаются. Примером могут служить лексемы ***срам, стыд, совесть, позор***, которые и будут предметом нашего дальнейшего рассмотрения.

На первый взгляд, перечисленные слова во многих контекстах выступают как полные синонимы. Достаточно вспомнить такие устойчивы-

вые выражения, как *стыд и срам, ни стыда ни совести, стыд и позор* или обратиться к толковым словарям современного русского языка, где многие из этих слов толкуются друг через друга. Например, согласно МАС, *стыд* — это позор [МАС; IV, 296], а *срам* — это стыд, позор [МАС; IV, 237]. *Совесть* и *стыд*, кроме того, одинаково толкуются как “чувство моральной ответственности за свое поведение, поступки” [МАС; IV; 175, 296].

Данные этимологических словарей также не приближают нас к разграничению семантики этих слов. Этимологи объясняют, что у слова *стыд* значение ‘срам, позор’ является переносным и развилось из значения ‘холод’. Аналогичную семантическую историю они усматривают в лексемах *мороз* и *мерзкий* [Шанский, Боброва, 307].

Срам родственен германскому корню *harm*, который может иметь значения ‘грусть’, ‘страдание’, ‘обида’, ‘вред’ [Фасмер; III; 724, Черных; II; 196]. Слово *позор* исходно связано со зрелищем, показом, демонстрацией [Шанский, Боброва; 242]. *Совесть* является калькой с греческого и буквально означает ‘совместное знание’ [Черных; II, 184], т.е. изначально это чувство неловкости от того, что кто-то кроме тебя знает о твоём неблагоприятном поступке.

Больше всего в этих этимологиях поражает связь слова *стыд* со словами *стужа, застыть, студень* и т.п., обозначающих идею холода. Самым простым объяснением их этимологической связи было бы утверждение о сходстве того физического или даже физиологического дискомфорта, которое испытывают как замерзший, так и пристыженный человек. Но это объяснение кажется нам весьма поверхностным. Ведь в число физически неприятных ощущений, словесные обозначения которых могли бы послужить основой для выражения чувства нравственного дискомфорта, можно включить и жар, и жажду, и боль, и голод, и страх.

Связь слов, обозначающих нравственный дискомфорт человека, и лексем с семантикой холода блестяще проследил в своей статье Б.А.Ларин [7]. Он отмечает близость слов *стыд* и *стынуть* (т.е. ‘замерзнуть’), *мерзкий* и *мороз*, а также *срам* и литовского *šarmà* ‘пней’.

Исследователь выстраивает следующую семантическую историю лексемы *стыд*. “От синкретического, нерасчлененного значения: ‘ощущение холода, боли’ → ‘мучение страха, стыда, позора’ → ‘чувство стыда’ → ‘порушение, позор’. Параллельно развивалась и вторая линия филиации значений: ‘чувство стыда’ → ‘интимные действия (половые связи)’ → ‘позор порока’ → ‘*rudenda*” (т.е. в буквальном переводе с латыни ‘то, чего должно стыдиться, половые органы’. — С.А., Е.С.) [7; 153].

Рассматривая языковые средства, с помощью которых выражаются различные эмоции, Ю.Д.Апресян отмечает, что внешние симптомы многих эмоций сходны с симптомами различных биологических ощущений. Так, по его словам, “реакция души на страх очень сходна с реакцией тела на холод” [1; II, 459]. Например, как от страха, так и от холода можно *дрожать, цепенеть, онеметь*. Аналогичное сходство симптомов исследователь отмечает в целом ряде подобных пар (эмоция – биологическое ощущение): отвращение и неприятный вкус, жалость и боль, горе и тяжесть.

Н.Д.Аругюнова констатирует противоречие между этимологией слова *стыд*, связанного с идеей холода, и симптоматикой внешних биологических проявлений, возникающих у человека, испытывающего это чувство: “От чувства стыда человека бросает не в холод, а скорее в жар, вызывающий покраснение его лица” [2; 61].

Пытаясь объяснить это противоречие, исследовательница обращается к библейскому мифу о грехопадении перволюдей, который она воспринимает почти буквально (в отличие даже от современных богословов, видящих в библейском мифе метафору).

“Любопытно отметить, – пишет она, – что познав стыд наготы, Адам и Ева сшили себе опоясания и ими прикрылись. Когда за нарушение запрета они были изгнаны из райских садов, “сделал Господь Адаму и жене его одежды кожаные и одел их” (Быт. 3.21). Ощущение холода как бы пришло к Адаму и Еве с чувством стыда и отторжением от Бога, низведением на землю. И стыд, и холод пользуются сходным средством защиты – прикрытием” [2, 66].

Первое, что бросается в глаза в интерпретации библейского текста Н.Д.Арутюновой, – полное неразличение ритуально-знакового и обиходно-бытового назначения одежды. Любопытно, что в тексте мифа, зафиксированного создателями Библии, это различие сохранилось: опоясания из листьев фиги (смоковницы) – мирового дерева древних евреев (оно же древо жизни и смерти, оно же древо добра и зла) [см. 15,13-48] является ритуальным предметом, обозначающим рождение нравственного императива в результате нарушения табу, тогда как кожаные одежды, шитые Богом для изгнанников, скорее всего, предназначены для защиты от стихий внешнего мира (в первую очередь, холода), хотя и здесь следует отметить, что, по мнению создателей “Толковой Библии” [12,30], они тоже являются намеком на ритуал. В нем “дано молчаливое указание на божественное установление института жертвоприношения. <...> Такова, по данным Библии, равно как и культурной истории человечества, вторая стадия развития в градации человеческих одежд” (*разрядка наша.* —С.А., Е.С.).

В отличие от ученых дореволюционной Духовной академии, комментировавших библейский текст, для Н.Д.Арутюновой весь процесс антропосоциогенеза и остальной “культурной истории человечества”, начиная с раннего каменного века, происходит под руководящей и направляющей силой единого Бога, а человеческое общество изначально является монотеистическим. Нельзя не уважать глубину и всеохватность религиозного чувства исследовательницы, однако эта всеохватность приводит ее к подмене истолкования и осмысления явлений и процессов, происходивших в семантической истории слова *стыд*, горячим, искренним и поэтическим славословием всезнающему и всетворящему абсолюту. Автор полагает, что в основе стыда и совести “лежит сознание — способность судить о себе с внешних позиций, отводимых Богу или социуму. Совесть имеет голос. Это голос Всевышнего (Высшей силы). С ним не спорят. Стыд “безголос”, но глүч. <...> Границы стыда расширяет цивилизация, границы совести – религия” [2; 69].

Для нас религия – это не самоценное явление, а лишь часть культуры человечества, поэтому мы сделаем попытку объяснить этимологию

слов *срам* и *стыд*, (а также отчасти *позор* и *совесть*) и происхождение соответствующих понятий, исходя из этапов антропосоциогенеза.

Анализируя достоинства и недостатки метафорического подхода к описанию эмоции, Ю.Д.Апресян пишет: “Недостаток состоит в том, что метафора принимается за конечный продукт лингвистического анализа, и собственно семантическая мотивация того, почему та или иная метафора ассоциируется с определенной эмоцией, отсутствует. Между физической мотивацией и самой метафорой отсутствует языковое, семантическое звено” [1; II; 456].

Этим звеном, по всей вероятности, являются тесно связанные между собой миф и ритуал. По мнению В.Н.Топорова, ритуал и протомиф выступают “и как последние шаги биологической эволюции, приведшей к антропогенезу, и как первые шаги человеческой культуры” [13,44].

* * *

Человек – существо биосоциальное. Социальное в человеке вторично. В ходе сложного и длительного процесса антропосоциогенеза социальное возникает в процессе отрицания биологического, отгалкивания от него, но всегда на его основе.

Суть антропосоциогенеза заключается в социализации биологического существа, в превращении животного стада в ранний социум. Стадо пралюдей жило по законам животного доминирования на основе биологических инстинктов, главными среди которых являлись пищевой, половой и инстинкт самосохранения.

“Становление новых, социальных, факторов поведения не могло не быть процессом оттеснения на задний план ранее безраздельно господствовавших биологических факторов поведения – инстинктов, процессом их ограничения, подавления социальными факторами” [6; 243-244].

Эти ограничения выступали в форме табу (запретов). Так, пищевой инстинкт ограничивался у пралюдей равным доступом к мясу, запретом потреблять его больше, чем другие. Ограничение полового инстинкта приобретало форму агамии (безбрачия) внутри формирующегося рода, а впоследствии – экзогамии [См 6; 228-293].

Возникновение табу как основополагающего принципа, перестраивающего основы организации животного стада в примитивный социум пралюдей, свидетельствовало о рождении нравственности. “Нравственные побуждения, — пишет Ю.М.Бородай, — несовместимы с биологическим инстинктом самосохранения, ибо сплошь и рядом противоречат ему, побуждая человека к поступкам индивидуально вредным и даже самоубийственным” [4; 102]. Табу не могло не выполняться, ибо его нарушение вело за собою смерть.

Древнейшим способом передачи и хранения информации о табу, вероятно, был ритуал. Можно предположить, что табу содержало в зачаточном состоянии первые ориентиры в формирующейся “человеческой” картине мира. А ритуал как форма реализации не только разных форм табу, возникающих у пралюдей, но и табу как праинтеллектуального принципа рождающегося человеческого мышления уже содержал в себе, “во-первых, ту или иную картину мира и, во-вторых, некоторую модель (стереотип, образец) поведения людей в особо значимых ситуациях” [9; 53].

По мнению современных исследователей, ритуал был древнейшей знаковой системой, существовавшей до мифа и языка [см. 8; 50-51]. “...Именно ритуал, — пишет В.Н.Топоров, — был родимым локусом поэтической речи, а слово-миф — первым восприемником ее” [14; 35].

В основе ритуала лежало не слово, а жест, который нередко повторял телодвижения животных предков человека. Эти телодвижения еще в рамках общения высокоразвитых животных подверглись первичной символизации и стали зачатками своеобразной знаковой системы. В рамках ритуала как свойственной только людям формы общения они претерпевают качественные изменения, подвергаясь семантической перекодировке, правда, еще в рамках невербальной системы общения.

Н.Б.Мечковская в качестве примера такого рода ритуала, получившего вербальное сопровождение лишь на более позднем этапе развития человеческого общения, приводит ритуал клятвы, название которого связано с праславянским глаголом *kloniti. Таким образом, в слове *клятва* “законсервирован” жест поклона, которым первоначально

и ограничивался этот ритуал [9; 51]. Весьма характерно, что однокоренное лексеме *клятва* слово *клянчить* 'просить милостыню' — заимствовано из польского языка, где глагол *kłeczyć* означает 'стоять на коленях' и восходит к праславянскому **klekati* 'стоять или идти согнувшись, наклонясь' [Шанский, Боброва; 135]. Возможно, это телодвижение, зафиксированное ритуалом как семиотическая единица, обозначающая уважение, смирение, покорность перед человеком, законом, Богом восходит к животному жесту покорности, свойственному современным человекообразным обезьянам, и в конечном счете — к жесту подставления самки самцу. Любопытно, что биологи, изучающие поведение человекообразных обезьян, заметили, что этот жест (еще на уровне животного стада) частично утратил свою функциональность и стал знаком покорности, никак не связанным с сексом. Его, например, используют подчиненные самцы по отношению к доминирующей самке [см. 4, 151-159]. Вероятно, недаром поясной и земной поклон является знаком покорности **во всех** культурах¹.

Аналогично половое возбуждение самца обезьяны, как замечают биологи, является не только чисто физиологической реакцией, но и своеобразным знаком доминирования. Исследователи поведения приматов обратили внимание на то, что такая реакция молодого подчиненного самца вызывает у самца доминирующего жест, имитирующий попытку оторвать половой орган. Однако соответствующее действие реально не осуществляется, если молодой самец спасается бегством или принимает позу покорности.

Таким образом, еще в рамках животного стада вышеупомянутый жест становится знаком угрозы и требованием покорности, а не наказанием, которое реально не удалось осуществить из-за ловкости жертвы.

¹ Характерно, что Ксенофонт Афинский, согласно античным свидетельствам, не желал, в соответствии с персидскими обычаями поклониться царю Киру, поскольку свободный грек этим бы себя унизил, сделал вид, что уронил с пальца перстень, и поднял его. Точно так же может быть осмыслена находящаяся на уровне грубой инвективы довольно распространенная русская вульгарная угроза *поставить кого-либо раком*.

Половые ограничения в рамках животного стада были результатом доминирования. В раннем социуме такие ограничения становятся результатом волевого усиления каждого по выполнению табу на инцест. Это табу получило фиксацию в ритуале обрезания. Обрезание не только давало возможность провести окончательную половую идентификацию (как бы социально “доделывая” врожденные, т.е. природные, животные признаки пола), но и символизировало причастность обрезанного к людям, половой инстинкт которых социализирован и урегулирован. Обрезание стало одним из знаков человека (противопоставляя его зверю) и, вероятно, утверждало для него невозможность инцеста. Подобную же функцию носило и прикрытие половых (срамных) органов².

Как это ни парадоксально, вторым “срамным” местом на теле человека стал рот. Это связано с многочисленными пищевыми табу, первым и главным из которых, как считают антропологи и этнографы, был запрет на пищевое доминирование и свободный допуск к мясу всех членов рода. Это табу не было так остро актуально для формирующегося из животного стада социума, как табу на инцест, и поэтому до нас дошло значительно меньше обычаев, восходящих к пищевым запретам. Можно вспомнить бытующий у разных народов обычай закрывать, завязывать рот (чадра, паранджа, фата, вуаль и т.д.), прикрывать его рукой в момент смущения или неудачно сказанного слова, зевания (христианская замена — крестить); пословицу: *На чужой роток не накинешь платок*, которая первоначально, вероятно, несла информацию не только о неумеренности распространения сплетен, см. также у В.И.Даля: *Простыдилась весь вечер, все платочком закрывалась* [Даль;IV;347]. Можно также вспомнить общезвестное высказывание Христа о грязи, исходящей из человеческого рта, который мыслится как источник

² Ю.М.Бородай отмечает, что для прекращения возникших в сообществах пралюдей разрушительных конфликтов на почве полового инстинкта, которые уже не могли разрешаться на базе определяемого инстинктами животного доминирования, требовалось “*тщательное сокрытие всего, что связано с половой сферой*”. Начинаются люди с того, что надевают повязку на бедро” (*курсив автора. — С.А, Е.С.*) [4; 158].

срамословия и, возможно, изначально как срамное место. Характерно, что при обряде инициации у некоторых первобытных народов зафиксировано выбивание, вырывание или стачивание “звериных зубов” – клыков. Это, вероятно, такой же знак социализации рта, как обрезание – знак социализации полового органа.

Формирующийся человек, отказавшись от прямых проявлений полового инстинкта внутри зарождающегося социума (родовой общины), закрепил табу на инцест в невербальной семиотической системе – ритуале. Эта знаковая система, использовавшая жесты, позы, прикрытия и т.д., знаменовала собой и первое примитивное представление о **сраме**.

Срам, по-видимому, понимался прародьями как отсутствие знаков, свидетельствующих о принадлежности особи к данному социуму. Естественно, само вербальное обозначение срама появилось значительно позже, с возникновением языка, однако в языке до сих пор сохранилась закреплённость этого понятия за человеческим телом, хотя закреплённость эта и весьма ослаблена временем. См., например, в романе М.Шолохова “Тихий Дон”: “Бабы при встрече с ней ехидно ощерялись, качали головами вслед, девки завидовали, а она гордо и высоко несла свою счастливую **и срамную голову**” [МАС;IV;237].

Известное устойчивое выражение *мертвые сраму не имут*, вероятно, первоначально было связано с древним представлением о том, что мертвые превращаются в тотемного зверя, а зверь нравственных понятий не имеет. И еще. В первобытном сознании мир делился на свой (космос, мир живых, мир людей, культуру) и чужой (хаос, мир мертвых, мир звериный, природу). В конечном итоге здесь наиболее значимыми являются оппозиции “культура - природа” (социальное - биологическое) и человек-зверь. Буквальный смысл этого фразеологизма именно таков. Впоследствии он приобрел другой смысл: “лучше погибнуть в бою, нежели быть осрамленным, т.е. побежденным, подчиненным, поработленным”.

Нарушение табу изначально связано в сознании человечества **со страхом смерти**. Любопытно, что родственное русскому слову *срам* латышское *sermelis* означает ‘ужас, жуть’ [Фасмер; III; 724]. Вот почему

в сознании людей до сих пор сохраняются устойчивые связи таких понятий, как *любовь (секс) и смерть, пир (еда) и смерть*.

Первая оппозиция настолько очевидна и так мощно представлена в искусстве всех времен и народов, что даже не требует доказательств. Вторая оппозиция представлена в культуре не так явно вследствие меньшей изначальной остроты и актуальности для процесса антропосоциогенеза, однако здесь можно вспомнить и постоянную связь любого пира с тризной и жертвоприношением, и все виды причастия — от первобытных до самых цивилизованных форм (эвхаристия), — и различные устойчивые формы застольного ритуала разных народов, имитирующие пришедшую на смену животному доминированию еду по кругу (еда из общей посуды, круговая чаша, “чокание” бокалами и т.д.).

Итак, срам вызывается страхом смерти в результате нарушения табу. Семиотически это табу передается с помощью ритуальной маркировки тела первобытного человека (обрезание, прикрытие “срамных мест” и т.д.)³. Более того, срам — это и есть страх, но уже не биологический, а социальный. По силе воздействия на организм он ничуть не меньше, чем биологический страх, вызываемый инстинктом самосохранения, ибо нарушение табу несет за собой вполне биологическую смерть. В отличие от биологического, страх социальный — срам, — вероятно, не только ощущался, но в какой-то мере и осознавался.

Пребывание в состоянии срама вызывало неосознанный или плохо осознанный ужас, который стал не только биологическим (инстинкт самосохранения), но и психологическим стрессором. В этом состоянии человек испытывал в принципе те же ощущения и реализовывал те же реакции, что и в состоянии биологического страха. Страх вызывал в нем желание убежать, спрятаться или — реже — проявить агрессию. В состоянии срама, как и страха, организм человека испытывает те же

³ Связь срама с человеческим телом отражается в языке и на очень поздних этапах. Так, в пьесе А.П.Чехова “Юбилей” “срамной” оказывается недопустимая для присутственного места одежда: “Ишь срамник! В присутственном месте в валенках сидит” [МАС; IV; 237].

экстремальные отклонения на уровне термостатуса; холод, жара, боль. Страх приводит к перевозбуждению симпатической нервной системы, что обычно вызывает расширение кровеносных сосудов и повышение температуры. Однако первым эффектом от такого перевозбуждения может быть и сужение сосудов, которое приводит к снижению температуры.

Характерно в этой связи описание психофизиологических ощущений Алеко, обнаружившего исчезновение Земфиры, в поэме А.С.Пушкина “Цыганы”:

Он с трепетом привстал и внемлет...

Всё тихо: страх его объемлет,

По нём текут и жар и хлад¹. (*Разрядка наша. – С.А., Е.С.*)

[П; IV; 165]

В этом описании представлена типичная симптоматика именно страха: дрожь (“трепет”) и озноб (“по нём текут и жар и хлад”), а не стыда или срама. Алеко напуган, встревожен, но не находится в состоянии срама и не испытывает стыда.

Данные русского языка позволяют утверждать, что некоторые слова, обозначающие необычно высокую или необычно низкую температуру, в древности означали лишь экстремальные отклонения от нормы

¹ Часть этой цитаты использована Б.А.Лариным в качестве эпиграфа к уже упомянутой статье. Думается, что такие “контрастные ощущения”, как и в приводимом Н. Д. Арутюновой отрывке из Достоевского “ – Мне бы лучше домой пойти, Яков Петрович, – говорил наш герой, *горя на мелком огне и замерзая от стыда и ужаса всё в одно время*” (выделено Н.Д.Арутюновой. – С.А., Е.С.) [2; 67-68], вызваны не “смешанными чувствами”, а именно экстремальными отклонениями на уровне термостатуса. Впервые подобные “смешанные чувства” описаны еще в “Жизни протопопа Аввакума”. Рассказывая о своем страхе в связи с намечающейся реформой Никона, Аввакум, первый русский писатель, сделавший попытку изобразить чувства через телесные ощущения, пишет: “Мы, сошедшиеся со отцы, задумались; видим, яко зима хочет быта: *сердце озябло и ноги задрожали*” [Авв.; 36] (выделено нами. – С.А., Е.С.).

без дифференциации на холод и зной. Так, наречие *зно́йко* в диалектах обозначает одновременно и 'жарко', и 'холодно'. По мнению этимологов, ему родственен глагол *знобить*, т.е. 'бросать то в холод, то в жар' [Шанский, Боброва, 99]. В.И.Даль приводит словосочетание *палыций мороз* [Даль; IV; 346], которое отнюдь не является оксюморном (как, например, *горячий снег*), и наличие его свидетельствует о том, что глагол *палить* мог обозначать не только экстремальную жару, но и экстремальный холод.

С холодом, как показал Б.А.Ларин, связано не только слово стыд, но и слово *срам*, родственное, как уже говорилось, литовскому *šarmá* "пней". Весьма возможно, что первоначально его значение также передавало экстремальное отклонение от нормальной температуры.

Страх, как уже отмечалось, вызывает не только желание бежать, но и желание спрятаться. Прячась, живое существо замирает, цепенеет. Биологически это проявляется в падении давления и снижении температуры. Характерна в этой связи этимология русского слова *страх* (известного всем славянским языкам), которое родственно литовскому *stregti* 'коченеть, застывать' [Шанский, Боброва; 305]. В свою очередь, латышское *kauns* 'срам' восходит к глаголу со значением 'цепенеть' [7;157].

Попробуем теперь дать определение срама. Генетически срам — это иррациональное психофизиологическое состояние, которое связано со страхом нарушения табу.

В сознании современного человека существуют несколько видов страха. Прежде всего это страх перед конкретной опасностью. Он, вероятно, восходит к комплексу ощущений и реакций, вызываемых животным инстинктом самосохранения. Другой вид страха связан с боязнью совершить конкретный, вполне определенный неблагоприятный поступок, за который станет стыдно перед людьми, перед социумом. Но есть еще и экзистенциальный страх, который человек испытывает как что-то иррациональное. Генетически он восходит, возможно, к архаическому табу, точнее, к неосознанному и не имеющему источника ужасу перед его нарушением, всегда несущим смерть. По нашему мне-

нию, именно на базе этого страха возникло представление о первородном грехе у монотеистов.

Действительно, приглядимся к основным сюжетным мотивам библейского мифа о грехопадении перволюдей (человечества): нарушение табу – страх, связанный с этим, (который здесь уже приобретает предметность) – вызванное этим состояние срама (еще не стыда) – наказание (уже не смертью, а, если можно так выразиться, смертностью, отъятием бессмертия). Миф об Адаме и Еве, таким образом, есть не что иное, как попытка рационализировать иррациональный экзистенциальный страх, попытка его осмыслить через образ всемогущего творца – носителя абсолютной нравственности⁵.

Если в русском языке на общезыковом уровне эти виды страха никак не различиваются, то в польском языке существует лексема *lęk*, с помощью которой обозначаются страх, восходящий к инстинкту самосохранения, и иррациональный страх, вызывающий состояние срама, т.е. восходящий к архаическому страху нарушения табу. Эти два вида страха объединяются своей биологичностью, сконцентрированностью вокруг индивида, отсутствием точно определенного источника. С другой стороны, слово *strach* в польском языке является общим обозначением всех видов страха.

Лексема *lęk* определяется в польском толковом словаре следующим образом:

Lęk – “uczucie trwogi, obawy przed czymś; w psychologii: szczególny rodzaj strachu występujący bez wyraźnych zewnętrznych zagrożeń przyczyn; jego źródła tkwią w nieracjonalnych konfliktach wewnętrznych” [Szymczak; II; 29] – “Чувство тревоги, боязни чего-то; в психологии: особый вид страха, чувство которого наступает без явных внешних опасностей и причин; его источники таятся во внутренних конфликтах, имеющих невротический характер”.

⁵ Библейский сюжет о первородном грехе в какой-то мере может быть осмыслен и как попытка мифологически смоделировать если не воспоминания, то хотя бы представления об антропосоциогенезе, т.е. процессе формирования человека, срама, стыда, социализированного сознания, нравственности.

На уровне русской психологической терминологии такой вид страха принято называть “плавающей тревогой”. Он связан с синдромом психоэмоционального напряжения, для которого свойствен высокий уровень невротизма.

Польское слово *lęk* и его производные используются для обозначения именно иррационального, необъяснимого страха. Это можно утверждать исходя из коннотаций и лексической сочетаемости данной леммы. См.: *paniczny, wrodzony lęk* — ‘панический, врожденный страх’; *lęk przed biedą, chorobą, śmiercią* — ‘боязнь несчастья, болезни, смерти’; *lęk przed nieznanym* — ‘страх перед неизведанным’; *lękać się ciemności, samotności* — ‘бояться темноты, одиночества’, *lękać się o jutro, o przyszłość* — ‘бояться завтрашнего дня, будущего’. Именно глагол *lękać się* употребляется во фразеологизме, соответствующем русскому. *Бояться собственной тени* (по-польски *Lękać się własnego cienia*), который, вероятно, изначально, на уровне архаического мифологического сознания, означал страх перед двойником из мира мертвых (поскольку тень мыслилась как двойник) и был связан с представлением о неизбежной смерти. До сих пор на этот счет существует много примет, например, встретить двойника или увидеть его во сне — к смерти.

Кроме того, корень *-lęk-* применяется в медицинских терминах, обозначающих болезненный, патологический страх: *stan lękowy* — ‘навязчивое состояние необъяснимого страха, фобия’, *lęk przestrzeni* — ‘боязнь пространства, агорафобия’.

Весьма интересна и этимология этого корня. Древнейшим его значением было ‘тнуться, сгибаться’. Ср. в русском языке однокоренные слова (*Самарская*) *Лука, излучина, Лукоморье, лук* ‘оружие’, а также *лукавить* ‘говоря, изворачиваться’. На этой базе развилось значение ‘сжиматься от страха’⁶, а затем — ‘бояться, пугаться’. Слова с данным корнем, несущим семантику страха, представлены практически во всех

⁶ Ср. с уже упоминавшейся этимологией слова *страх*, родственного литовскому *stregti* ‘сжиматься, цепенеть’.

славянских языках, кроме русского, однако и в русских диалектах встречаются глаголы *лякать* 'пугать' и *лякаться* 'пугаться', существительное *ляка* 'пугало, страшлище'. В украинском языке существует поговорка *Ти сказився чи злякався?* 'Ты обезумел или испугался?', которую используют при чем-то неадекватном поведении. Здесь страх увязан с осуждением некоего безотчетного, беспредметного (священного?) безумия. С таким же беспредметным, иррациональным страхом связано существительное *lěkoty* в нижнелужицком языке 'ужасные сновидения, испуг, вскакивание вследствие беспокойных снов' [ЭССЯ; вып. 15, 59-63, Фасмер, II, 50-551].

Перечисленные виды страха можно представить в виде следующей схемы:



Из схемы видно, что на базе древнейшего, восходящего к инстинкту самосохранения, биологического страха возникает уже психологический, иррациональный страх, связанный со смертельным ужасом перед нарушением табу. Его возникновение порождает состояние срама и знаменует собой рождение зачаточной нравственности. На основе этого иррационального страха формируется высшая, наиболее человеческая форма страха – страх совершения безнравственного деяния, за которое индивидуум может быть осужден и отвергнут социумом.

Самый архаичный из этих видов страха, **первый**, в современном сознании достаточно социализирован, его причины чаще всего доста-

точно хорошо осмысливаются. Страх **второго** типа сейчас остается по большей части иррациональным и связан с работой подкорки или психологической патологией. Его “работа” проявляется почти всегда на уровне предрассудков (народные приметы, толкование сновидений, традиционные формы бытового поведения, восходящие к архаическим ритуалам и т.д.). **Третья**, высшая, форма страха знаменует собой появление чисто человеческого нравственного чувства – **стыда**.

В русских толковых словарях слово *стыд* описывается обычно как “чувство сильного смущения от сознания предосудительности поступка” [Ожегов; 634] Польские лексикографы стремятся дать этому понятию более развернутое толкование. Польское *wstyd* (в котором даже на словообразовательном уровне – с помощью приставки *w-* – подчеркивается, что это внутреннее чувство) толкуется через уже упоминавшуюся лексику *łód*.

Wstyd – “przykre, upokarzające uczucie spowodowane świadomością niewłaściwego, złego, hańbiącego postępowania (własnego lub czyjegos), niewłaściwych słów, świadomością własnych lub czyichs braków, błędów itp., zwykle połączonych z **łękiem** przed opinią” [Szymczak; III; 773]. “Стыд – неприятное, униженное чувство, вызванное осознанием неправильного, плохого, позорящего поступка (собственного или чьего-то), неправильных слов, осознание своих или чьих-то недостатков, ошибок, обычно связанное с **боязнью (страхом)** перед чужим мнением (чужой оценкой)”. (Выделено нами. – С.А., Е.С.).

Итак, стыд, в понимании польских лингвистов, связан со страхом перед чужим мнением, в конечном счете перед социумом⁸.

⁷ Сходную мысль тезисно высказал еще в 1970 году Ю.М.Лотман: “Поскольку механизм страха прекрасно известен в животном мире, а [механизм] стыда является специфически человеческим, именно этот последний лег в основу регулирования первых человеческих – уже культурных – запретов” [8; 665].

⁸ Эта связь страха и стыда наглядно прослеживается в последних строках из письма Татьяны к Онегину:

“Кончаю! *Страшно* перечеть... // *Стыдом* и *страхом* замираю...” [I; V: 62]

Стыд, таким образом, — это осознанное чувство переживания личной или чьей-то (возможно даже потенциальной) вины перед обществом, это чувство, формирующее нравственность социализированного человека. Если срам маркируется в рамках человеческого тела и слабо связан с речью (срамословие — это неприличные разговоры о срамных частях человеческого тела, — порою просто их называние, — и сексуальных действиях), то стыд всегда осмысливается в рамках оппозиции “человек-социум” и может основываться на чувстве переживания не только за недостойные поступки, но и речения.

Чувство стыда, в отличие от психофизиологического понятия срама, не одномоментно и не ситуативно, а связано с процессом построения взаимоотношений человека и социума и воспитания нравственности в человеке. Характерно в связи с этим, что от слова *стыд* в русском языке образуется глагол *стыдиться* и категория состояния *стыдно* (*Я стыжусь. Мне стыдно*), обозначающие процесс переживания стыда. Образование категории состояния от слова *срам* (**Мне срамно*) невозможно, а используемое в предикативной функции существительное *срам*, как и глагол *срамиться / осрамиться* (*Срам смотреть! Он осрамился*) обозначают не внутреннее переживание, а конкретное действие или ситуацию, негативно оцениваемые кем-то.

Различия между понятиями ‘стыд’ и ‘срам’ наглядно видны из сопоставления трагедии Софокла “Царь Эдип” и древнегреческого мифа, который лег в ее основу. Как известно, великий драматург серьезно трансформировал сюжет мифа, введя абсолютно новый мотив страшной чумы, поразившей Фивы. Если в мифе Эдип — прежде всего невольный нарушитель табу на incest и отцеубийство, то в пьесе Софокла, невольно убив правителя и нарушив общественную нравственность, он оказывается виновником страданий и гибели социума.

Характерно, что в польском переводе романа А.С.Пушкина страх, связанный со стыдом, передается лексемой *lek*: “Kończę! I **wstyd** i **lek** mnie bierze... / I **strach** odczytać.” [Р;68] (букв.: “Кончаю! И *стыд* и *страх* меня берет... / И *страшно* перечесть...”. — Выделено нами. — С.А., Е.С.).

Мы полагаем, что **в мифе** Эдип попадает в ситуацию **срама** за нарушение табу. **В трагедии же** он испытывает **стыд**, основанный на его вине перед обществом и осознании ее:

Вы в горе все; но всех страданий ваших
В груди своей я полноту собрал.
Лишь за себя болеет сердцем каждый
Из вас, родные; а моя душа
Скорбит за город – за себя – за вас. [Соф.; 7]

Сильнейшее чувство стыда, основывающееся на оппозиции человек – социум, неудержимо требует не только психологического выхода, но и **совместного** осознания и сопереживания его с обществом – *совести*. А для этого Эдип, уже ослепивший себя и решивший уйти в изгнание, жаждет самодемонстрации – **позора** – перед лицом горожан, которых он именует “родными”, “Кадмовым народом”, т.е. потомками основателя Фив, осмысливая их как людей, связанных с ним родовыми узами:

Он требует, чтоб двери мы открыли,
Чтоб показали Кадмову народу
Того, что пролил кровь отца, а мать
Свою – ужасных слов не повторить мне. [Соф.; 51]

Если в мифе мотивом поступков Эдипа после узнавания им страшной тайны становится срам от невольного нарушения табу, то в трагедии – стыд перед обществом и жажда позора как возможности хотя бы частичного искупления вины.

Можно предположить, что процесс воспитания нравственности первоначально происходил **в форме ритуала и только в ней**. В этом отношении наиболее показательным является обряд инициации, который ритуально организует смертельный ужас нарушения табу, одновременно лишая его тупиковости и безысходности. Этот обряд по существу является моделированием антропосоциогенеза для каждого индивидуума, входящего в возрастную группу абитуриентов. Испытания голодом, болью, холодом, огнем и т.п. “проверяют” юношу на спо-

способность отказаться от естественного, природного (в том числе инстинктов и в первую очередь самосохранения) и купируют прорывы биологического, животного как в индивидуальное сознание, так и в социум, формируя тем самым **со-весть**, т.е. гармоничное отношение между индивидом и социумом. Хотя не следует забывать, что оно осуществляется на основе жесткого и постоянного самоограничения индивида.

Ритуал балансирует на грани жизнь-смерть, природа-культура, животное-человек. Абитуриент (еще не человек, а значит, животное⁹) ритуально умирает, а затем воскресает взрослым членом родового объединения, т.е. человеком. Инициация провоцирует внутреннее изменение человека, формирует существо сознательное, способное стыдиться, т.е. нравственное.

Стыд всегда осознавался и сейчас осознается как неотъемлемое качество человека. Так же, как и срам, он связан с различными формами самоограничения, но в отличие от срама, прикрывающего (изолирующего) “срамные” части человеческого тела, связанные с основными биологическими инстинктами, которые человек должен подавлять, стыд обнаруживает не биологическое, а демонстративно-психологическое, **волевое** сдерживание животных инстинктов. Это отразилось, например, в русской поговорке *Стыдливый из-за стола голодным встанет*¹⁰ [Даль;IV;347]. И если сейчас она обозначает лишь уровень чрезмерной стеснительности “слишком” воспитанного человека, то, вероятно, в древности обозначало высокий уровень самоограничения с целью стать человеком.

⁹ Это “среднее”, внеполовое положение ребенка отразилось в грамматике. В древнерусском языке названия детенышей человека и животных относились к среднему роду (см. **дѣтѣ, чадѣ, котѣ, поросѣ, телѣ**), т.е. ребенок (как и детеныши животных) не относился ни к мужскому, ни к женскому полу. Во многих славянских языках эта закономерность сохраняется до сих пор (см. польск. *cielę* ‘теленоч’, *prosię* ‘поросенок’, чешск. *štěně* ‘шенок’, *děčička* ‘девчушка’). Аналогично в немецком языке *das Kind* ‘ребенок’ среднего рода.

¹⁰ См. также выражение *стыдливый кусочек* “последний кусок на блюде, который каждый из сидящих за столом стесняется взять” [МАС; IV;296].

Срам – исторически первый шаг к нравственности, стыд – второй, волевой и осознанный. Говоря о внутренних ощущениях человека, переживающего страх, можно отметить, что они так же физиологичны, как и у животного, испытывающего воздействие инстинкта самосохранения, и у человека, нарушившего табу. В момент инициации, когда, собственно, и формировался страх, связанный с понятием общественной вины, стыда, нравственности, социум в лице старших членов рода импигировал младшим (абитуриентам) сильные, плущие извне ощущения боли, ожога, переохлаждения и т.д.) Эти болезненные, экстремальные ощущения, с одной стороны, реалистически воспроизводили ситуацию, в которой как у животного, так и у человека срабатывает инстинкт самосохранения, а с другой стороны, усиленно вызываются физиологические симптомы, сопровождающие ситуацию страха. Если страх нарушения табу (срам) был самопроизвольным, то в ходе инициации испытуемых пугали, т.е. к фактору биологическому прибавлялся фактор психологический.

Обряд инициации получил отражение в волшебной сказке. Как показал В.Я.Пропп в своей монографии “Исторические корни волшебной сказки” (1946), “сказка сохранила следы очень многих обрядов и обычаев: многие мотивы только через сопоставление с обрядами получают свое генетическое объяснение” [10; 23]. Ученый отмечает, что обряд никогда не изображается в сказке напрямую, а всегда переосмысливается, всегда изменяются мотивировки поступков героев и т.д. Это происходит не только потому, что сказка – явление, возникающее гораздо позже, чем ритуал и миф, но и потому, что сказка – явление качественно иного порядка. Если миф и ритуал – категории мировоззренческие, то сказка – это фольклорное произведение, т.е. искусство.

В.Я.Пропп выделяет большую группу сказочных сюжетов, в которых юноша (реже – девушка) по какой-то причине отправляется в лес, где подвергается испытанию. Функцию фигуры проводящего испытания выполняют разные герои (Баба Яга, Леший, Морозко и т.д.). С главным положительным героем, который успешно проходит испытание, туда же отправляются антигерои (братья, мачехины дочери и т.д.). По-

бедливший герої (героїня) отримує волшебні дару, вступає в брак, антигерої испытання не витримують і покачуються.

Конечно, сказочні сюжети за багато років свого існування претерплюють зміни в формі наложень (наприклад, введення бытових деталей пізніших епох), зміни мотивацій поступків героїв (так, герої уходять з дому, конечно, не на обряд ініціації, а на пошуки утрачених предметів или людей либо отправляються туди не в силу традиції и не по волі соціума, а по злому умыслу коварної мачехи и т.д.). К числу таких сказок належить и известная русская народная сказка “Морозко” (Аф. 95-96).

С.Г.Тер-Минасова, анализируя особенности американского менталитета, замечает: “Сказка “Морозко” вызывает [у американцев] недоумение и даже негодование. Что поучительного в девочке-спрутке, которая зачем-то врёт Морозу, что ей тепло, когда она замерзает от холода? И почему наказана мачехина дочка, которая кричит «холодно! остановись!»? Сюжет сказки противоречит уставу “американского монастыря”, где царствует Его Величество Здравый Смысл (чтобы не сказать прагматизм)” [11;172],

Весьма характерно, что сказка братьев Гримм “Госпожа (Бабушка) Метелица”, повторяющая данный международный сюжет, мало того, повторяющая его в том варианте, где в качестве организатора испытания выступает фигура мифологического героя-носителя холода, более приспособлена к восприятию прагматичного западного читателя, ибо там положительная героїня отримує поощрення за трудолюбие, кропотливость и бесхитрость. А мотив ее страданий от холода во время взбивания снежной перины, который в данном сюжете был главным, изначальным и, возможно, сюжетообразующим, купируется¹¹.

¹¹ Интересно, что в сказке В.Ф.Одоевского “Мороз Иванович”, созданной по мотивам русской народной сказки “Морозко”, мотивировка награждения героїни также изменена в сторону высокой оценки ее трудолюбия, однако у русского писателя, вероятно, слышавшего сказку в устном исполнении, сохранилось весьма подробное описание страданий Рукодельницы от холода во время взбивания снежной перины: “... а между тем у ней, бедной, руки окостенели и пальчики побелели”. [Од. ;154]

Действительно, главным испытанием героинь этого сказочного сюжета является мороз, холод, персонифицированный в образе Морозко (именно он ведет ритуальный диалог). Следует отметить, что в этой сказке через элементы более позднего быта, правов и отношений (жизнь крестьянской семьи в деревне, тяжелая доля сироты, образ мачехи-злодейки, посылающей падчерицу на верную смерть, и т.д.) просвечивает древний, восходящий к обряду инициации сюжет. Уже то, что главной героиней является девушка, а не юноша, — признак архаичности этого сюжета. Признаком его глубокой древности является и то, что испытание происходит не в специальном помещении (у русских — избышка на курьих ножках), а прямо в лесу. Кроме того, в сказках, где через данный обряд проходит юноша (чаще всего его проводит Баба Яга), перечень испытаний довольно разнообразен. Это испытания огнем (“в бане выпари!”), едой (“напой-накорми!”), болью (у героя “из спины ремни режут”), испугом, угрозами, страхом (“покатаюся-повалюся, ванего мясца покушамши”) и т.д. [см.10; 52-154].

В сюжете этой сказки, вероятно, преломился и переосмыслился самый древний, примитивный, не требующий приспособлений метод испытания, сводившийся к изгнанию из примитивного сообщества, возможно, в лишения пещеры и огня. След этого ритуала можно найти не только в фольклорном искусстве, но и в языке.

Во многих славянских языках для обозначения понятия ‘стыд, позор’ используется лексема *hanba* [Черных, II, 196], В.И. Даль включает диалектное слово *ганьба* ‘стыд, позор’ в статью при глаголе *ганить* “хаять, хулить, осуждать, позорить, срамить” [Даль, I, 344]. М.Фасмер считает, что этот глагол, имеющийся в украинском, белорусском, польском и чешском языках, является славянским новообразованием от глагола *поганити* ‘преследовать’, который связан с *гнать* [Фасмер; I; 392]. Аналогично возник в русском языке глагол *пугать*. Он является производным от глагола *поудити* < *пждити* ‘гнать’ [Фасмер, III, 399-400, Черных; II, 80].

Таким образом, вопреки мнению Н.Д.Арутюновой, “ситуация стыда предполагает движение *от*: от-талкивание, от-вращение, от-ступниче-

ство, от-межевание” не потому, что “Другой должен отступиться от отступника. Он отворачивается и уходит прочь” [2;64], а потому, что в процессе обряда инициации чувство стыда как раз и воспитывалось путем ритуального изгнания из пещеры или от костра и следы этого ритуала, весьма возможно, отразились в этимологии ряда лексем, обозначающих ‘стыд, позор’ и ‘страх’. В пользу этого предположения говорит то, что во многих случаях корни со значением ‘холод’ со временем приобрели семантику ‘отвращение’. Так, в словенском языке *stud* значит ‘отвращение’, *studiti* — ‘относиться с отвращением’, чешск. *ostuda* означает ‘срам’, *ostudit* — ‘возбудить отвращение’ [Черных; II; 196, 214, Фасмер; II; 603, III; 787]. Такую же эволюцию пережили русские корни *-мерз-* и *-сты(д)-*: см. *мерзкий* ‘отвратительный, гадкий’, *мерзавец* ‘подлый, мерзкий человек, негодяй’, *омерзительный* ‘внушающий омерзение, очень скверный’, диал. *остуда* ‘досаждение’, диал. *стылый* ‘противный, ненавистный’ < ‘окоченелый, дохлый, похожий на труп’ [Преображенский; II; 407], *постылый* ‘возбуждающий неприязнь к себе, отвращение, надоевший’ [Ожегов; 280, 364, 463].

В сборнике А.Н.Афанасьева опубликованы два варианта сказки “Морозко”. Рассмотрим вариант (Аф. 95).

По воле злой мачехи, приказавшей выдать падчерицу замуж за Морозку, отец вывозит Марфушку в лес и оставляет ее на определенном месте — у сосны, “что на пригорке стоит”. Конечно, злая воля мачехи, ее желание убить ненавистную падчерицу и вся эта “криминальная” завязка вторичны, принадлежат собственно сказке и возникли в эпоху, когда инициации (и особенно женской) уже давно не было. Но следы ритуала остались: отъезд девушки связан с мотивом брака, на место испытания по воле рода ее везет отец, оставляя ее на определенном, вероятно, отведенном для ритуала месте.

Девушка мерзнет: “Сидит да дрожит; озноб ее пробрал. Хотела она выть, да сил не было: одни зубы только постукивают”. Весьма любопытно, что героиня сказки, замерзая, хочет, но не может проявить звериную реакцию на мучительные ощущения холода (ей хочется завывать).

Диалог Марфушки и Морозки явно ритуален и, возможно, чуть ли не полностью перенесен в сказку из древнего обряда. С точки зрения

бытовой логики, трижды повторенный вопрос Морозки “Тепло ли те девица? Тепло ли те красная?” совершенно бессмыслен: как еще должна чувствовать себя девушка, надолго оставленная в зимнем лесу?! Больше того, в подобной бытовой ситуации говорящие по-русски, беспокоясь о том, чтобы кто-то не замерз, скорее, спросят иначе: “Тебе не холодно? Ты не замерзла?” Однако в рамках ритуала этот вопрос и его форма имеет глубокий смысл. Задавая его, человек, проводивший инициацию, проверял способность абигурнента как физиологически, так и вербально сдерживать, скрывать свои чувства. Вот почему падчерица ведет себя так, будто ничего особенного не происходит. “Девица окостенела и чуть слышно сказала: “Ой, тепло, голубчик Морозушка!” Тут Морозка сжалился, окутал девицу шубами и отогрел одеялами”.

Марфушка получает богатые дары – приданое. Ей обеспечен престижный брак. Все это, конечно, от сказки, но через эту позднюю концовку просвечивает ритуальная основа сюжета: девушка выдержала испытания, прошла инициацию, стала полноправным членом рода, взрослым человеком (что равносильно быть человеком вообще), обрела магическую силу предков¹², получила право на брак.

Что же является причиной победы героини в сказках с этим и очень близкими ему сюжетами?

В рамках сказки (т.е. произведения искусства) все понятно: во-первых, героиня социально обездолена, а поэтому ее успех воспринимается как восстановление справедливости. Она добра, трудолюбива, кротка – эти качества должны быть вознаграждены, и по законам фольклорного сюжетообразования ее судьба завершается счастливым браком. Однако опять сквозь поздние наложения просматриваются древние основы сюжета – главным достоинством девушки является стыдливость. Она стыдится сказать Морозке правду. Что же позорного в этой правде, что недостойного совершила она?

¹² В сказочных сюжетах, восходящих к рудиментам представлений о женской инициации, на месте Морозки часто бывает медведь, с которым девушка играет в “жмурки” (ср. в арго музыкантов *лабать жмурика* ‘играть на похоронах’) – в смерть.

Девушка мерзнет и стыдится того, что ее болезненные ощущения такие же, как у животного! Любопытно, что в этом варианте сказки сохранилось упоминание о том, что девушка чуть было не проявила животную реакцию на ощущения, которые едва не привели ее к гибели: окостеневая, она хотела завывать.

Стыдливость падчерицы проявляется здесь в способности скрывать свои физиологические ощущения. Преодолевая их, она волевым усилием их социализирует, выводит из сферы биологического в сферу социального. Фактически на наших глазах она подавляет в себе инстинкт самосохранения, доказывая этим свою человеческую природу. Она подавляет еще не чувство (это возникнет позже), а ощущение, но это рождает в ней, вероятно, одно из самых ранних чувств — чувство стыда.

Мачехины дочки, Машка и Параха, в отличие от Марфушки, — бесстыдницы и не только потому, что ведут довольно длинный “срамной” диалог между собой, в который входит и название срамных частей тела (“Да кой храниш! Что долго нейдет”), и описание сексуальных действий (“А ты что знаешь? Только по беседкам ходить да облизываться”), и грубая перебранка по поводу одного жениха на двоих. Они бесстыдницы еще и потому (и это главная и наиболее древняя примета бесстыдства), что не хотят и не могут скрыть неприятных ощущений: “Что, Параха? Меня мороз по коже подирает. Ну, как суженый-ряженный не придет, так мы здесь околеем¹⁴”.

Девушки не посвящены и в способы ведения ритуального диалога: на вопросы Морозко они отвечают, как кажется, с точки зрения бытовой логики: “Ой, Морозко, больно студено! Мы замерзли, ждем суженого, а он, окаянный, спнул”. А с точки зрения ритуала, они своим ответом и своими действиями (постоянными попытками согреться, т.е. избавиться от испытания: “сунули руки в пазухи”, “начали пальцы отдувать”¹⁵)

¹³ Бранное выражение (прим. А.Н.Афанасьева).

¹⁴ Т.е. замерзнем. (Прим. А.Н.Афанасьева). Согласно словарю М.Фасмера, *о-кол-еть* — значит “сделаться твердым, как кол” [Фасмер; III; 129]. См. также статью Э.А.Балалыкиной [3].

¹⁵ Следует заметить, что падчерица не предпринимает даже попыток согреться.

демонстрируют, что их биологические импульсы и реакции плохо контролируются, что свои ощущения они не могут да и не хотят скрывать. За этим неизбежно следует наказание смертью: «Поди ты к черту! Разве слеп, вишь, у нас руки и ноги отмерзли <...> Убирайся ко всем чертям в омут, спина, окаянный!» – и девушки окостенели».

Увидев привезенные из леса окоченевшие трупы дочерей, старуха бранит старика, но скоро успокаивается, услышав его ответ: «Полно, старая дрянь! Вишь, ты на богатство польстилась, а детки твои упрямыцы!» В рамках сказки поведение старика кажется нелогичным: он безропотно увозит на смерть свою дочь по приказу старухи, а теперь отвечает с уверенностью и дерзостью, которые таким людям просто не могут быть свойственны. Эти «странности» в характере старика легко объясняются тем, что изначально этот герой (особенно в мифе и ритуале) был носителем и исполнителем воли и мнения социума. Быстро смирявшаяся с участью дочерей старуха становится понятна тоже с точки зрения мифа и ритуала. Она смиряется с волей родовой общины. Примечательно и то, что в финале сказки старик «готовит» своих внучат (детей Марфушки) к будущей инициации, «страшая их Морозком» и не давая «упрямиться», чтобы их не постигла участь «упрямыц» Машки и Парахи.

Как уже говорилось, инициация отрицает в первую очередь инстинкт самосохранения, ибо рождающаяся в ходе ее человеческая нравственность противоречит животному естеству. Нравственность — это внутреннее волевое побуждение, по природе своей антииндивидуальное. Машка и Параха, с точки зрения позднего художественного сознания, погибают потому, что они эгоистичны. И действительно, сказка довольно часто награждает подобных героинь и ленью, и жадностью, и жестокостью к слабым и обездоленным и т.д. В ритуале этого не было, ибо эгоистические чувства присущи довольно позднему человеку, уже отделяющему себя от общества. В архаическом ритуале погибал тот, кто не был способен сдерживать в себе животные инстинкты и не был признан человеком.

В сборнике Афанасьева оба варианта (Аф. 95,96) этой сказки несут в себе наиболее архаический, т.е. близкий к ритуалу, конец. Антигероинь-

ни в обеих сказках гибнут от холода. В сказке братьев Grimm (как и в авторской сказке В.Ф.Олоевского) этот финал смягчается. Антигерои наказаны (посрамлены, опозорены), они или получают антиприданое, или, как у братьев Grimm, очерняются смолой и лишаются возможности брака.

Итак, сказка позволила нам подтвердить нашу гипотезу о происхождении стыда как нравственной категории и об этимологии русского слова *стыд*, а также в какой-то мере подтвердить другую нашу гипотезу о происхождении срама и разграничить “стыд” и “срам” как изначально разные мировоззренческие категории, которые на вербальном уровне в современном русском языке практически уже не разграничиваются. Так, в толковых словарях в качестве одного из значений обеих лексем обычно указывается “позор”, а в качестве другого — половые органы. Единственное отличие — это значение “смущение”, отмечаемое у лексемы *стыд* и несвойственное лексеме *срам* [см. БАС, XIV; 628, 1116-1118, МАС; IV, 237, 296]. Таким образом, в одном из своих значений становятся синонимами сразу три русских слова — *срам*, *стыд* и *позор*.

Нивелирование семантических различий между понятиями ‘стыд’ и ‘срам’ наблюдается и в других славянских языках. Это приводит к тому, что одно из слов в этой паре уходит из активного словарного запаса, а другое расширяет значение и выполняет функции обеих лексических единиц.

Интересно, что в большинстве восточно- и южнославянских языков ушло слово *стыд*, а его семантику полностью взяло на себя слово *срам*. Эта тенденция наблюдается, в частности, в украинском, белорусском, болгарском и словенском языках. В русском и сербохорватском сохранились оба слова и между ними ощущаются (хотя и очень зыбкие) семантические различия. В языках же западнославянских в активном словаре, наоборот, остались польск. *wstydy*, чешск. и словацк. *stud*. Не исключено, что сохранение семантических различий между стыдом и срамом, а также закрепление в качестве синкретического обозначения соответствующих понятий более архаической лексемы *срам* в вос-

точно- и южнославянских языках связано, с одной стороны, с большей традиционностью соответствующих культур, а с другой — с тем, что в ряде этих языков имеется тенденция к сохранению многих архаических языковых черт.



“Человек родился и с первой минуты слышит звуки своего будущего родного языка. Язык знакомит его с окружающим миром, навязывая ему то видение, ту картину, которую “нарисовали” до него и без него”, — пишет С.Г.Тер-Минасова [11; 135]. Процесс “рисования” фрагмента этой картины на примере лексем *стыд* и *срам* мы и попытались проследить.

Дискретное описание последовательности возникновения основных семантических вариантов этих лексем блестяще провел Б.А.Ларин, оставаясь лишь в пределах языка и языкознания. Мы же сделали попытку наполнить его анализ обращением к данным антропологии, этнографии, психологии, фольклористики и в какой-то степени литературоведения, чтобы найти ту внеязыковую основу, на которой базировались семантические изменения как в процессе антропосоциогенеза, так и в процессе формирования культуры человечества. Мы попытались восстановить то недостающее звено в семантическом анализе, о котором писал Ю.Д.Апресян и которое должно было находиться между физической мотивацией и метафорой.

Попытаемся по-новому взглянуть на схему, предложенную Б.А.Лариным в конце 50-х годов, наполнив ее внеязыковым содержанием.

Исходным значением слова *стыд*, по Ларину, было ‘ощущение холода, боли’. Мы бы добавили ‘и жара’. Все эти ощущения, общие у человека и высокоорганизованного животного, связаны с первичными биологическими инстинктами. Внешние раздражители активизируют соответствующий инстинкт, который может менять термостатус организма.

Следующим семантическим вариантом лексемы *стыд* Б.А.Ларин считает значение ‘мучения страха, позора’. Этот понятийный ряд, как

мы видим, относится не к биологическому, а уже к биосоциальному — чисто человеческому. Как нам удалось установить, эта ступень семантической истории слова *стыд* отражает тот этап формирования человеческой нравственности, когда к страху, вызванному инстинктом самосохранения, прибавился смертельный ужас перед нарушением табу и сформировалось понятие ‘срама’.

Третьей ступени в ларинской схеме — чувству стыда — соответствует, на наш взгляд, появление обряда инициации, в процессе которого происходило формирование нравственности. Когда наряду с иррациональным страхом (вызывавшим состояние срама) появляется полусознанный, а порой и осознанный страх быть осужденным социумом и возникает чисто человеческое нравственное чувство — стыд.

Далее, по Ларину, стыд эволюционирует к ‘позору’. Позор, как нам кажется, — это, с одной стороны, агрессивная реакция формирующейся личности на стыд, на свою закреплённую веками ответственность перед обществом, а с другой — жажда общества отомстить (уже не смертью!) взбунтовавшейся и стремящейся отделиться от него личности. Соотношение стыда и позора можно понять, как мы считаем (пока гипотетически), через соотношение с чувством совести — как средством гармонизации отношений между человеком и социумом.

Но это тема уже другого исследования.

Примечание. В силу специфики статьи сноски оформляются иначе, чем во всем остальном сборнике.

Библиографический список

1. Апресян Ю.Д. Избранные работы: В 2-х тт. Т.2. Интегральное описание языка и системная лексикография. М, 1995.
2. Аругюнова Н.Д. О стыде и стыже // Вопросы языкознания, 1997. С. 59-70.
3. Балалыкина Э.А. К истории слов, восходящих к и.е. *ke1 / *ko1 в русском и польском языках // История русского языка: Лексикология и грамматика. Казань: Изд-во Казанского университета, 1991. С. 21-28.

4. Бородай Б.М. Эротика – смерть – табу. М.: Гнозис, Русское феноменологическое общество, 1996.
5. Булаховский Л.А. Введение в языкознание. Ч. II. М.: ГУЛН 1953.
6. История первобытного общества: Общие вопросы. Проблемы антропогенеза. М.: Наука. 1983.
7. Ларин Б.А. Из славяно-балтийских лексикологических представлений // Вестник ЛГУ. 1958. №14. С.150-158.
8. Лотман Ю.М. О семиотике понятий “стыд” и “страх” в механизме культуры // Лотман Ю.М. Семносфера. СПб.: Искусство, 2000. С. 664-666.
9. Мечковская Н.Б. Язык и религия. М.: Агентство “ФАИР”, 1998.
10. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.: Изд-во ЛГУ, 1986.
11. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: СЛОВО/ SLOVO, 2000.
12. Толковая Библия. Петербург, 1904-1907. [Репринтное издание].
13. Топоров В.Н. О ритуале: Введение в проблематику // Архаический ритуал в фольклорных и ранне-литературных памятниках. М.: Наука, 1988. С.7-60.
14. Топоров В.Н. Предыстория и история литературы у славян. М., 1998.
15. Фрэзер Дж. Дж. Фольклор в Ветхом Завете. 2-е изд., испр. М.: Политиздат, 1985.

Словари

1. Даль В.И. Словарь живого великорусского языка: В 4 тт. М.: Русский язык, 1989-1991. [Даль]
2. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Изд. 22-е. М.: Русский язык, 1990. [Ожегов]
3. Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка: В 2 тт. М., 1910-1914 [Преображенский]
4. Словарь русского языка: В 4-х тт. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Русский язык, 1981-1984. [МАС]

* В квадратных скобках после библиографического описания приводятся сокращенные обозначения словарей и текстов, под которыми данное издание упоминается в тексте статьи.

5. Словарь современного русского литературного языка: В 17-ти тт. М.-Л.: Русский язык, 1950-65. [БАС]
6. Фасмер М, Этимологический словарь русского языка: В 4 тт. М., 1987. [Фасмер]
7. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь русского языка: В 2 тт. М.: Русский язык, 1993.
8. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Этимологический словарь русского языка. М., 1994. [Шанский, Боброва]
9. Этимологический словарь славянских языков / Под ред. О.Н.Трубачева. М.: Наука, 1980-2000. [ЭССЯ]
10. Słownik języka polskiego / Red. naukowy B.Szymczak. W 3 t. - Warszawa, 1981. [Szymczak]

Тексты

1. Житие Аввакума и другие его сочинения. М.: Советская Россия, 1991. [Авв.]
2. Народные русские сказки А.Н.Афанасьева: В 3 тт. Т.1.М.: Наука, 1985. [Аф.]
3. Одоевский В.Ф. Избранные педагогические сочинения. М.: ГУЛИ, 1955. [Од.]
4. Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 тт. М., 1978. [П]
5. Софокл. Драмы. М.: Наука, 1990. [Соф.]
6. Puszkina A. Eugeniusz Oniegin / Przełożył Adam Ważyk. - Warszawa: PIW, 1982. [P].